

Художественный журнал, №101 2017

moscowartmagazine.com

А. Бикбов и В. Мизиано. Освобождение времени

Александр Бикбов. Родился в 1974 году в Москве.

Социолог. Редактор журнала «Логос», научный координатор НИИ митингов. Живет в Москве и Риме.

Виктор Мизиано. Родился в 1957 году в Москве. Куратор, теоретик современного искусства, создатель и главный редактор «ХЖ». Живет в Москве и Апулии.

Виктор Мизиано: Наши встречи в редакции «ХЖ» уже стали для нас сквозным пунктиром — ваша публикация, затем новый цикл работы над журналом, мы переходим к новому блоку последовательно разворачивающихся тематических номеров, и опять нам оказывается интересен ваш комментарий. Только что мы издали сотый номер «Художественного журнала», в котором попытались понять наше актуальное настоящее через прошлое — прошлое пережитой «ХЖ» постсоветской эпохи. Последующий, 101-й номер мы задумали как разговор о настоящем сквозь призму будущего или же как разговор о будущем через опыт сегодняшнего дня. Ведь сегодня, как кажется, все мы переживаем исчерпанность некоего доминировавшего до недавних пор статус-кво, как и некое томление по чему-то, что должно непременно наступить. Впрочем, оно — это будущее, может либо не явиться никогда, оставляя нас в

состоянии его постоянного ожидания, либо же явить себя в любой момент, поскольку ситуация того требует. И в этой связи, наверное, имеет смысл начать наш разговор, вернувшись к тому, с чего некогда — в 2011-м году в [№№ 83–84](#), начинался наш диалог — к культурной политике неолиберализма. Ведь многие теоретики и публицисты интерпретируют настоящее через диагностику конца неолиберализма.

Александр Бикбов: В разговорах о конце неолиберализма есть очень большая доля условности. Она основана на допущении, что неолиберализм, как и другие идеологии, являет собой способ властвовать над умами в политическом пространстве. Мой тезис заключается в том, что неолиберализм исходно не нуждался в системном идеологическом оформлении, поскольку это, в первую очередь, технология управления. Безусловно, некоторые неолиберальные идеологии были предложены уже в девяностые, и они по-прежнему включены в политическое состязание: товаризация общественных фондов, рынок без границ и регуляторов, гибкий труд. Но сфера использования технологий куда шире, чем запрос на их доктринальное оформление. Именно поэтому неолиберальные модели легко монтируются с самыми разными идеологическими установками в разных частях мира, от США до Саудовской Аравии, от Австралии до России. Достаточная толерантность неолиберализма к доктринальной достройке возвращает нас к вопросу: не отвергнута ли эта модель только как идеология и не продолжается ли интенсивное внедрение этих технологий в политику, экономику и культуру, несмотря на мировой консервативный поворот?





Лена Зубцова. «Обои», 2015. Бумага, тушь, лайнер.

Предоставлено художницей

Предварю развернутый анализ кратким ответом. Нынешние неоконсерваторы и традиционалисты во власти — неолибералы даже тогда, когда яростно атакуют неолиберализм. Они традиционалисты и сторонники «старого доброго» суверенитета в своем видении нации, определении целей, которым должна служить культура, пониманию того, каким высшим целям служат налоги. Но в том, как они управляют этими сферами в рутине и банальности своей профессиональной жизни — будь то музеи, университеты, или, если мы покинем границы культуры, пенсионные фонды — они предстают самыми последовательными неолибералами, все так же привлеченные эффектностью численных показателей, экономией бюджетных трат, соблазном государственно-частного партнерства.

Недавние примеры, которые кажутся наиболее ярким подтверждением неработоспособности неолиберализма в

России — деятельность двух федеральных министров: министра культуры Владимира Мединского и министра образования Ольги Васильевой. Если мы следим только за их доктринальными высказываниями, может показаться, что эти фигуры воплощают собой радикальную антитезу девяностых, попытку полностью перечеркнуть либеральный проект, чтобы вернуться к идеям национальной и моральной сплоченности, нации как единого тела, общей судьбы и так далее. Но если мы уделим внимание средствам, при помощи которых эти задачи реализуются, мы без труда обнаружим, как суверенитет и национальное единство становятся коммерческим продуктом, перекодируются на языке прибыли и эффективности. Так, уставные задачи, которые ставит перед собой любимое детище министра Мединского, Российское военно-историческое общество (РВИО), наряду с консолидацией государства и общества, борьбой против «искажений» исторической памяти, — это организация туризма, проведение фестивалей, услуги по консультированию, государственные подряды на восстановление памятников, производство патриотического кино и, в целом, прибыльный менеджмент инфраструктуры патриотизма. Публичные суждения министра о РВИО еще более инструктивны в этом отношении: понятие рентабельности столь же важно для него и для всего технологического комплекса нового патриотизма, как и понятие сплоченности. Деятельность Ольги Васильевой, которая сменила на посту министра-технократа и неолиберала Дмитрия Ливанова, определяется той же технологической настоятельностью. Когда Васильева критикует международные научные рейтинги, даже если мы сами относимся к ним скептически, первая реакция на ее слова: это традиционализм и самоизоляция. Но стоит

дослушать министра до конца, чтобы понять: она следует тому же принципу бухгалтерской эффективности, просто рассчитывая заменить международные рейтинги внутринациональными. Неолиберальный принцип прозрачной отчетности проецируется на обучение и тогда, когда министр распоряжается публиковать студенческие дипломные работы на сайтах вузов.

Конечно, соединение неолиберальных технологий с доктринальным консерватизмом дает и новые конфигурации. Так, пытаясь поставить точку в борьбе за единый учебник, Васильева предлагает главный аргумент: у каждого школьника на всей территории России, от Калининграда до Владивостока, должен быть «одинаковый базис». Этот тезис соблазнительно прочесть в духе «возврата к СССР», насаждения единомыслия. Однако более верным контекстом прочтения будет совсем не этот, а итоговый документ «Основ государственной культурной политики», утвержденный еще в 2014 году. В нем культура определяется через функции привязки населения (в особенности молодого) к территории, укрепление ценности семьи, рост управляемости и производительности, навязывание спроса на российскую медиапродукцию. То есть единый учебник, уроки православия, как и целая серия традиционалистских актов государственных органов культуры, подчиняются сегодня не логике «ресоветизации» или индоктринации как таковой, а меркантилистской схеме. Новый меркантилизм вписывает неолиберальное управление в консервативный поворот, по-прежнему преследуя цель производства такого населения, которое обладало бы однородностью, оптимизмом и компетентностью, чтобы больше производить, быть лучше

управляемым, осуществлять самоучет и самомотивацию. В строгом смысле эта логика так же далека от почвеннических идей национальной сплоченности, как и правила всеобщей конкуренции, которые министерства навязывают сегодня культурным и образовательным институциям через системы рейтингов, отчетности, посещаемости, надбавок за эффективность. Она куда ближе инструментальным целям аппаратов национального государства-менеджера, которое сегодня заново создается на российской территории.

К этому можно привести целый ряд других примеров, которые, конечно, не ограничиваются российским обществом. Если некоторые доктринальные основания неолиберализма сегодня отброшены, неоконсерваторы, которые выступают наиболее яркими его критиками, постепенно занимая ключевые посты в управлении, уже усвоили неолиберальные технологии на уровне здравого смысла и телесных рефлексов. Они верят, что иначе управлять миром культуры попросту невозможно. Именно поэтому музеи продолжают испытывать давление рентабельности, театры и другие культурные центры — прессинг посещаемости, школы — подушевого финансирования. И даже если эти показатели не имеют прямого денежного выражения, культурные институты рассматриваются правительством как точки прикрепления населения, как места захвата новых аудиторий, которые должны быть лучше структурированы, лучше форматированы и, таким образом, эффективнее управляемы. Сегодня мы имеем дело с таким соединением управленческих технологий и доктринальных логик, которые никак не ставят под сомнение неолиберальный здравый смысл. Иными словами, текущая ситуация в управлении

культурой — неоконсервативная по форме и неолиберальная по содержанию.

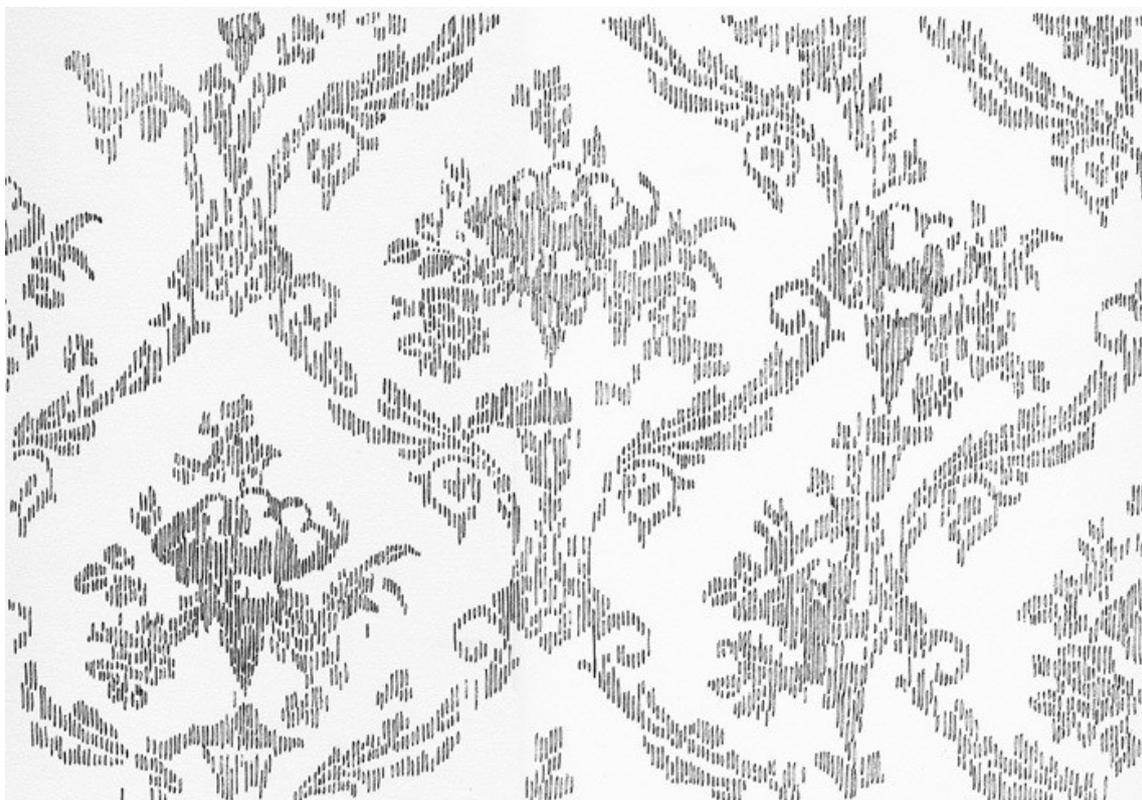
В.М.: Что касается культурной политики в сфере современного искусства и изобразительного искусства в целом, мы действительно наблюдаем в последнее время серию новых назначений, и что характерно, за одним исключением — это назначения людей, не имеющих историко-художественного образования, но имеющих опыт менеджмента в самых разных сферах, и их назначение аргументируется прежде всего управленческой эффективностью. Представление о том, что руководитель гуманитарной институции должен обладать определенным научным опытом, интеллектуальным весом, нивелируется, его вытесняют на периферию, выводя на первый план менеджерские способности. Но что интересно — новые назначенцы не склонны приветствовать, когда их называют менеджерами.

А.Б.: Эта деталь представляется мне по-настоящему важной. Мы имеем дело с попыткой построить капитализм в обществе, где субъективно капитализм недопустим и неприемлем. Моя гипотеза состоит в том, что эта странная субъективность нового менеджмента культуры, который отрицает собственную менеджериальность, собственную неолиберальность, все эти попытки российских управленцев вернуться к «естественности», почве, натурализму — российский аналог «нового духа капитализма», как его описывают Болтански и Кьяпелло. У них новый дух получает определение гибкого, подвижного и артистического. Именно эти его свойства сдерживают присущее капиталу неограниченное стремление к наживе, делая его приемлемым. Но как этот дух может работать в обществе,

где любое стремление к наживе воспринимается как нелегитимное? Очень похоже, что неоконсервативный поворот, который происходит сегодня в ряде обществ, и особенно явный — в странах, переживших травму начала девяностых, — это адаптивная реакция на усиление капиталистического нажима в управлении, попытка в первую очередь самих управленцев справиться с этой настоятельностью. Странная психоаналитическая логика — делать, одновременно отрицая то, что делаешь — имеет отношение к тому, как капитализм, в России сегодня становится приемлемым.

В.М.: К парадоксам неолиберального капитализма можно отнести и то, что он делает ставку на гражданское общество вопреки тому, что оно видит неолиберальные корпорации своим главным супостатом. Парадокс этот легко объясним: становление гражданских союзов и самоорганизованных сообществ неизбежно приводит к ослаблению государства и этим расчищает дорогу его разграблению корпорациями. Устремления к гражданскому обществу мы сегодня наблюдаем и на территории современного искусства. Я имею в виду, прежде всего, опыт самоорганизации. В период 1990-х создание сообществ было способом выживания художественной среды в ситуации ослабления государства. В 2000-е годы государство вернулось, сообщества были распущены во имя служения корпорациям, а в настоящий момент мы наблюдаем исход из корпораций, или, по крайней мере, параллельно с корпорациями, опирающимися на инфраструктурные олигархические или государственные проекты, как альтернатива им, возникают разного рода самоорганизованные среды, гибкие, эфемерные, распадающиеся, воссоединяющиеся, но в

очень большой степени претендующие на симптоматику момента, на передовую художественно-социального поиска наших дней. Исходя из логики, согласно которой все эти попытки создания структур гражданского общества до известной степени укоренены в неолиберальной динамике, какова ваша оценка этой симптоматики?



Лена Зубцова. «Обои», 2015. Бумага, тушь, лайнер.

Предоставлено художницей

А.Б.: 1990-е годы были эпохой состязания между коллективными формами жизни. Самоорганизация в культурной среде проживалась как совместное конструирование жизненных стилей, совместного нового будущего, которое противопоставлялось и советскому прошлому, и грядущему рынку, по крайней мере, тому рынку, который обозначил аукцион Сотбис 1988 года, где на конвейер ставится меновая стоимость произведения искусства. Целый ряд пространств такого жизненного эксперимента 1990-х, включая артистические и

анархистские сквоты, Центр современного искусства на Якиманке и некоторые другие, держался на вере в множественность социальных миров. Именно поэтому для многих участников той динамики философия или социальная теория были совершенно неотделимы от артистизма: острый выбор между видами активности и творчества как способами распорядиться временем своей жизни просто не стоял.

Сегодня ситуация совершенно иная: самоорганизация по большей части — это не совместное конструирование пространств будущего, а, скорее, кооперация независимых частных производителей на актуальном рынке культуры. Такая кооперация включает две ключевые презумпции: во-первых, сохранение себя в профессиональной роли современного художника, куратора, культурного производителя, а не противопоставление ей радикальных проектов жизнестроительства и нереалистичных утопий; во-вторых, признание неустранимости и силы экономических принуждений, которые виделись частными, устранимыми в 1990-е. Те же философия или социальное исследование сегодня — это уже не источник форм жизни, скорее — ресурс для насыщения профессиональной художественной практики. В этих обстоятельствах центральной функцией самоорганизации становится взаимопомощь и критика *status quo* вне универсальной утопии. Часто это попытка противопоставить себя не рынку как таковому, а его отдельным, наиболее жестоким проявлениям, — это весьма хрупкие стратегии, которые позволяют совместно увеличивать шансы на распоряжение свободным временем. Начиная с совместного съема жилья, чтобы таким образом тратить меньше времени на обязательные коммерческие

заработки, заканчивая проектами по совместному творческому освоению пространств, которые остаются, скорее, спасительными анклавами, чем разметкой горизонта будущего. Такая самоорганизация в виде временного исключения себя из циклов рентабельности дает время для передышки, смягчает непрерывный ритм продажи себя и необходимость презентовать себя на продажу.

В.М.: Однако все эти альтернативные пространства, декларирующие свою инаковость, свою невописанность в систему, подчас де-факто своей внутренней структурой воспроизводят механизмы государственно-неолиберальной инфраструктуры. Они мыслят себя, скорее, альтернативными формами промоушна художников, которые по тем или иным причинам не попали в фавориты неолиберальных институций. И очень часто после того, как эти сообщества распадаются, они в тех или иных формах продолжают себя воспроизводить как память о своем былом существовании. Например, галерея «Электрозавод» устраивала выставку о том, как она когда-то устраивала выставки в другом месте, то есть фактически использовала себя как бренд, который по определению есть атрибут неолиберальной экономики.

Еще один бросающийся в глаза феномен современной художественной жизни — это затребованность критической политической позиции. Я очень хорошо помню 1990-е годы: тогда левокритическая позиция вызывала общественное недоумение, это был удел людей очень эксцентричных. При этом, если воспользоваться характерным термином того времени, это были не столько артикулированные позиции, сколько «жесты отношения». Так, художник Дмитрий Гутов декларировал свой марксизм, свою приверженность

наследию Лифшица, а Анатолий Осмоловский — наследию европейского 1968 года и революционного авангарда 1920-х. Обосновать свои позиции в абсолютно не структурированной политической ситуации тех лет было совершенно невозможно, но тогда было достаточно самого факта декларации этой позиции и обеспечивать ее артикулированной программой и реальной политической практикой не требовалось. Контекст был недополитический или постполитический. Сегодня же мы наблюдаем появление целых сообществ и сред, которые очень последовательно связывают себя с левой политической позицией, которую они прекрасно артикулируют, но, по сути, в очень большой степени не столько реализуют на практике, сколько инсценируют. Как кажется, усилия исчерпываются задачей встраивания себя в некие потоки интеллектуальной индустрии, оставаясь при этом лишенными какой-то связи с опытом сегодняшней политической жизни. Любопытно наблюдать, как многие сегодня не видят противоречия между формами жизни, в которые вписываются, и дискурсом, которым подчас очень ловко и достаточно изощренно оперируют. Если это так, то какая за этим стоит симптоматика?

А.Б.: В отличие от многих других культурных сред, современные художественные сообщества и сети кооперации отталкиваются непосредственно от неолиберальной повестки. Ведь это в основном самоорганизация тех, кто уже вовлечен в арт-рынок на неолиберальных условиях: среди них есть и молодые начинающие художники, критики, кураторы, страдающие от сверхэксплуатации, и те, кто провел достаточный срок на глобальном рынке, поняв, что тот не дает ответов или даже

предлагает ложные ответы на целый ряд экзистенциальных вопросов. Эти альянсы учреждаются в горизонте рынка. Но когда вы говорите, что они удачно инструментализируют свою кратковременную жизнь сообществ, я хочу уточнить: насколько удачно? Одним из признаков, позволяющим судить, что такая конверсия, перепродажа своей альтернативности совершается регулярно и завершается успехом, была бы целая серия коммерческих структур, НКО, публичных проектов, созданных в России на базе сообществ. Однако, присмотревшись к арт-рынку и, более широко, к рынку культуры, мы не обнаружим этой вереницы sell-out коллективностей. Путь из ситуации рыночного самоисключения ведет обратно к позиции частных независимых (и атомизированных) производителей на рынке. То есть схема, сопоставимая с левыми художественными объединениями европейских или американских 1960-х, когда альтернативные сообщества впоследствии успешно конвертировали себя в рыночные единицы, в российском мире культуры все еще заблокирована. Институты, которые соединяют в себе всю мощь неолиберальных технологий и бюрократических ресурсов, присваивают пространство культуры настолько полно, что неолиберальная логика превращения альтер-сообщества в коммерческую фирму попросту недостаточно рентабельна. Можно допустить, что некоторые проекты, созданные протагонистами 1990-х, такие, как институт «База», представляют собой редкие формы подобной конверсии, когда опыт альтернативных жизненных стилей, пропущенных через рынок, переработан в рыночный продукт. Но незначительное число таких примеров лишь подчеркивает роль самоорганизации как временного самоисключения из капиталистического оборота, а не

полного цикла разрыва с последующей конверсией.

Возможно, мои данные неполны, и в каких-то зонах такая конверсия происходит регулярно.



Лена Зубцова. «Обои», 2015. Бумага, тушь, лайнер.

Предоставлено художницей

В.М.: «Пусси Райот» — очень успешная продюсерская фирма, которая капитализировала символический капитал, можно сказать, образцово показательно.

А.Б.: Трудно с этим не согласиться и не упомянуть также их предшественницу, группу «Война». Но с важным дополнением — их капитализация произошла на международном рынке. Без громкой международной карьеры артистического проекта его рыночная конверсия была бы невозможна. И это лишь подчеркивает редкость подобных случаев в российском арт-пространстве.

Здесь уместно вернуться к вашему вопросу о связи неолиберальных технологий с гражданским сектором.

Мотором первичной медийной капитализации «Пусси Райот» были не коммерческие, а гражданские структуры,

которые обеспечили группе высокую степень доверия, впечатляющий публичный кредит. И, если мы задаемся вопросом о роли гражданского сектора во внедрении неолиберальных управленческих технологий, мы не можем обойти вниманием некоммерческие и неправительственные организации (НКО), которые берут на себя задачи, не решаемые бюрократическими институтами государства. Защита гражданских и потребительских прав, продвижение критериев прозрачности и отчетности, смягчение форм и технологизация контроля, от тюрем до общественного транспорта, — нововведения, которые сперва появляются в гражданском секторе в виде низовых инициатив, а затем инкорпорируются в государственное управление. Этому посвящен, в частности, раздел книги Митчелла Дина «Правительственность. Власть и правление в современных обществах», где он анализирует НКО как носителей государственного интереса в его современном изводе, заданном проблемами избыточности контроля и эффективности управления населением. Как и во всем мире, в России также действуют НКО, которые разрабатывают технологии заботы, контроля, управления отдельными социальными группами с целью уменьшить человеческие страдания, сделать исключенных и меньшинства равноправными потребителями, снизить издержки работы государственного аппарата. Двигаясь в этом направлении, они часто не видят связи между столь важными для них либеральными ценностями и неолиберальным эффектом технологий, которые государственные структуры могут впоследствии интегрировать в свою работу. И здесь моя цель — не простое наблюдение мимоходом. Можно было бы предположить, что при ограничениях на коммерциализацию

некоммерческих арт-практик самый естественный путь для институционализации неолиберальной логики в искусстве — это создание множества низовых НКО, через которые продвигалась бы альтернативная государственной, при этом неолиберальная повестка. Но и это в российском культурном пространстве — редкость.

В.М.: Это происходит. Например, самая авторитетная для сегодняшнего дня негосударственная структура, где, собственно, и происходят основные назначения, Фонд развития современного искусства, созданный Иваном Демидовым. Это реальная фигура, которая проводит государственную политику, и одно из главных политических направлений этого фонда — создание образовательных инициатив, где происходит встреча маргинальных художественных сред, хотя чисто формально они не являются маргинальными в силу того, что их большинство — я имею в виду фигуры, находящиеся на территории искусства, но имеющие традиционные представления о нем, получившие образование во все еще советских по характеру учебной программы высших учебных заведениях и не способные встроиться в актуальный современный художественный процесс. Эти странноватые образовательные инициативы видят своей целью — опустить избыточно радикальное крыло современной художественной жизни, но прежде всего — поднять вот эту массу не знающих ничего о языке современного искусства людей, не чувствующих себя способными этот язык приватизировать.

А.Б.: Это интересный пример. Хотя он иллюстрирует не динамику низовых НКО, а продолжающуюся неолиберализацию государства, которое в своей эволюции

все чаще отказывается от управления культурой через базовое финансирование и прямой бюрократический контроль больших институций. Здесь можно наблюдать своеобразное скручивание, сжатие привычных противопоставлений, попытку создать узкий канал, через который ведется не столько бюрократическая селекция производителей, сколько переоформление субъективности тех, кто, согласно новым критериям отчетности, недостаточно эффективен. Почему этих людей нужно переучивать, образовывать заново? Почему их нужно приобщать к языку «опасного» современного искусства, пусть даже этот язык фиктивен и будет разоблачен при первой встрече с органическими игроками? Потому что одна из ведущих линий нынешней культурной политики российского государства — это критика неэффективности институтов культуры и недостаточной предприимчивости их сотрудников. Логика проста: чтобы сделать отстающих успешнее, эффективнее, следует превратить их в игроков наиболее капитализированного сектора — современного искусства. Но если мы вернемся к вопросу о конверсии низовых инициатив в коммерцию или в гражданский сектор, за редкими исключениями обязанных успешной интернационализации российского опыта и его носителей, — такие примеры все же очень немногочисленны.





Лена Зубцова. «Обои», 2015. Бумага, тушь, лайнер.

Предоставлено художницей

И здесь мы подходим к важному пункту в анализе, который прямо связан с вашим наблюдением о востребованности левой критической позиции. Его можно сформулировать в виде вопроса: как, в каких формах происходит интернационализация художественной и политической жизни сегодня в России? Очевидно, что интернационализация повсюду имеет два основных регистра: это глобализация рынка и опыт низовых форм общения, критического мышления, контрвласти, которые приобретаются как в активистских средах, так и в стенах интернациональных институций. Имеет смысл различать их аналитически, можно резко противопоставлять их политически. Но в отношении современного искусства и, более широко, новой культурной политики подобное чистое противопоставление попросту не работает. По моим наблюдениям, в современном искусстве интернационализация происходит в институциональных каналах, где оба эти регистра тесно соединяются. Многие институции, куда российский художник, критик или интеллектуал может сегодня попасть, пройдя отбор или получив признание международных посредников, предполагают освоение левокритической грамматики, которая уже встроена в неолиберальный контракт. Многие молодые художники ездят сегодня на международные события и программы не просто как «суверенные»

российские представители за рубежом, чьи приобретения ограничиваются новыми контактами. Ключевым ресурсом здесь служит соотносимость опытов, которая предполагает приобретение новых художественных практик, новой субъективности, новых политических кодировок и маркеров идентичности. И, конечно, превращение в норму, вмененность лево-критической позиции, о которой вы упоминаете, — продукт этой социализации, рассчитанной на дальнейшую международную карьеру.

Обратный перенос такой логики в стены российских арт-образовательных и даже порой (хотя и существенно реже) общеобразовательных институций — результат кооптации обладателей этой образцовой субъективности. Примеры такого рода, как Школа Родченко или Музей современного искусства, доказывают возможность удачного компромисса с исходно бюрократическими структурами. Они сохраняют статус государственных, при этом либерализованы, эмансипированы от прямого бюрократического контроля за счет того, что демонстрируют свою эффективность в международных обменах. Ведь, как я отмечал ранее, противоречивая культурная политика текущего дня предполагает одновременно и национализм с патриотизмом, и высокую эффективность с участием в международных рейтингах. Через официально допустимую и даже желательную интернационализацию педагогики политическая грамматика, которая соотносима с текущей структурой международного рынка искусства, нормализуется в российской арт-среде и в культурном пространстве.

В.М.: Тогда вопрос — каковы должны быть новые условия для того, чтобы современный интеллектуал или

современный художник смогли свести вместе свободное и уверенное владение леворадикальным сленгом с острым, точным, увлекающим анализом конкретной ситуации? Когда этот инструментарий сможет быть наконец обращен на конкретный контекст и в соответствии с ним скорректирован, терминологически адаптирован, подчас изменен в соответствии с опытом? И когда анализ этого опыта будет давать жизнь новым терминам? Ведь постопераисты интересны тем, что анализировали очень конкретный, даже не европейский, а итальянский опыт, и из него и родились эти великолепные концепции Вирно и прочих. Из этой очень специфической ситуации родились термины, которыми сейчас пользуются все...

А.Б.: Это произойдет непременно, как уже происходило, когда в России конца XIX века в политизированных интеллектуальных средах велись дебаты об особом российском пути. Причем велись они не с националистических позиций, а с точки зрения адаптации марксизма к вопросу о возможности революции в России. Это как раз очень характерный пример того, каким образом самоколонизация той или иной критической теорией или контртехнологией достигает порога реальности, заставляя провести целый ряд критических операций по отношению к образцу. Рефлексия Плеханова или Ленина о российской специфике и необходимых поправках к базовой марксистской схеме — ответ на ваш вопрос: в каких условиях это происходит? Это происходит, когда интеллектуалы понимают, принимают и начинают критически работать со своей обреченностью на это общество.

В.М.: На берегу Женевского озера?..

А.Б.: На берегу Женевского озера, на собраниях немецких социалистов, в читальных залах Британской библиотеки, которые дают необходимую дистанцию, но одновременно понимание того, что твоя судьба может быть — сделана только там — в «своем» обществе, с преобразованием его форм социальности. И Женевское озеро, и Британская библиотека, конечно, важны как пространства критического осмысления своей обреченности. Обреченности, которой нам порой недостает. Даже мое поколение, не говоря о поколении 1990-х и более ранних, все еще продолжает жить с ощущением, что российское общество не вполне настоящее. Что мы живем в реальности, которая не завершена, недостаточно хороша, чтобы получить наше признание в качестве реальности окончательной. И эта дремлющая антиутопия позволяет нам быть недостаточно внимательными к своему обществу именно потому, что оно ненастоящее, постоянно что-то имитирует, заимствует какие-то привнесенные формы, которые никогда не становятся собственными в полном смысле. Тут я готов согласиться с вашей желчной диагностикой некоторых форм левой рефлексии и критики без самокритики, которые сводятся к тому, что можно очень успешно пользоваться грамматикой верной речи, но при этом не обращать внимания на такие «мелочи», как условия найма или управление городским пространством. Такая установка действительно может принимать вид столь естественного, искреннего недоумения: «А зачем нам, левым, обсуждать подобные вещи?» — что ставит под сомнение способность этой позиции к каким-либо альтернативным формам социальности.





Лена Зубцова. «Обои», 2015. Бумага, тушь, лайнер.

Предоставлено художницей

И это возвращает нас к вашему очень важному вопросу о расхождениях между грамматикой высказывания и жизненными стилями. Полагаю, два измерения тесно связаны между собой: с одной стороны, это соответствие грамматики правильной речи практике собственной жизни, с другой, поиск очень конкретных средств для осуществления утопических альтернатив. Пока обреченность не становится источником рефлексии о совместности нашего текущего положения, а грамматика суждений воспроизводится независимо от жизненного стиля, можно осмысливать эти разрывы этически. То есть призывать коллег и соратников к тому, чтобы усилием воли они сами эти расхождения устранили. Полагаю, именно на этом было выстроено множество дебатов конца 1990-х и частично 2000-х — на попытке призвать друг друга быть верными собственным теориям, приобретенной и усвоенной грамматике. Но такого этического призыва явно недостаточно. Не только потому, что часто и очень легко критическое обращение друг к другу вырождается в морализм. Но и потому, что критическая установка требует принципиально не-этического отнесения к

реальности. Чтобы сделать суждение о реальности более строгим, более плотным, более вещественным, если угодно, необходимы дополнительные условия.

И ключевым условием является освоение технологий контрзнания. Если мы допускаем, что неолиберальные технологии, как и бюрократические или авторитарные, формируют соответствующие субъективности, для осуществления контрвласти необходимы технологии, которые будут формировать критическую субъективность, способную оперировать этой реальностью и преобразовывать ее, а не просто формулировать о ней грамматически верные суждения. Полагаю, нам очень недостает базовых совместных навыков, которые позволяют работать с социальной статистикой, анализировать время труда и отдыха, описывать режимы занятости, — то есть знания достаточно простых материй, о которых часто не заговаривают не потому, что не хотят говорить, а потому что растеряны перед их непрозрачностью для практического опыта. В этом смысле переход от правильной речи к новым жизненным практикам нуждается в частичной деинтеллектуализации, снижении градуса изысканных теоретических и доктринальных споров.

Жизнестроительство неизбежно сопровождается критической технологизацией себя, своего общения и обменов. Нужно оговориться, что и здесь речь принципиально — не об этическом самоощущении. А о коллективной способности сопоставления фактов, которую разделяют целые сообщества. Непростой навык критического обращения с простыми фактами в Европе настраивался столетиями. Полагаю, в таком ответе на ваш вопрос скрыта немалая доля пессимизма: если этического

жеста недостаточно, необходима серьезная работа истории. Только она заставляет левых художников внимательнее прислушиваться к критическим социологам, которые сами при этом не имитируют левых художников, то есть не пытаются просто использовать нужную грамматику речи.

В.М.: Как уже было анонсировано в самом начале беседы, в этом номере мы хотим говорить об актуальности, сегодняшнем моменте, но в некой перспективе будущего. И отсюда две ремарки. Первая — может ли быть будущее у неолиберализма, если неолиберализм, как известно, отрицает будущее и настаивает на «конце истории», то есть перманентном настоящем? А вторая ремарка связана с вашими же словами. В одной из наших прошлых бесед вы как-то очень справедливо заметили, что по большей степени новое рождается за счет рециклирования прошлого и что прошлое никогда не стирается полностью, а уходит в подкорку, на какие-то вторые-третьи роли, но продолжает существовать, и прорыв нового подчас осуществляется за счет того, что из подполья, из резервов этот опыт, трансформированный, но сохраняющий свою связь со своей исторической предысторией, выходит на поверхность. И поэтому если мы смотрим на настоящее, то какого рода перспективы оно нам подсказывает? Какого рода будущее есть у нашего настоящего? Или точнее — какого рода наше прошлое выйдет на поверхность с тем, чтобы стать нашим будущим?

А.Б.: Отвечая на ваш вопрос, я считаю важным упомянуть об одном параметре, который имеет критическое значение для текущего дня и с большой вероятностью — для ближайшего будущего. Этот параметр — непредсказуемость настоящего. Можно обращаться к самым разным примерам

и показателям, пытаюсь определить, что уже сегодня закладывает основу нашего «естественного» существования через пять или десять лет. И порой нет ничего лучше прямого вопроса: «Кем вы себя видите через пять лет?». Я регулярно задаю его в своих исследованиях самым разным собеседникам. И в последнее время на него способны ясно ответить только старшеклассники, первокурсники и бюрократы. В планомерном времени их жизни и карьеры имеются институциональные ступени, по которым можно восходить к предсказуемому будущему. Всем остальным сказать что-либо определенное крайне трудно. Вне стен институций бюрократического типа представление о будущем, собственном и общества, неопределенно, а горизонт возможного планирования очень невелик. Более того, многие респонденты отвечают очень характерной фразой, на первый взгляд почти отговоркой: «Да я даже не знаю, что произойдет завтра!».

Кажется, все это имеет отношение, скорее, к будущему, чем к настоящему. Однако парадокс состоит в том, что, говоря о неопределенном будущем, мы на деле проецируем в него свое чувство момента. Сегодня завершается схватывание социального и политического порядка, седиментация иерархий и условий труда в самых разных профессиональных средах. И именно это переводится в достаточно болезненный, фантазматический образ непредставимого будущего. Насколько сегодня наши дальнейшие траектории уже определены нынешним положением, настолько будущее кажется лишенным перспективы.

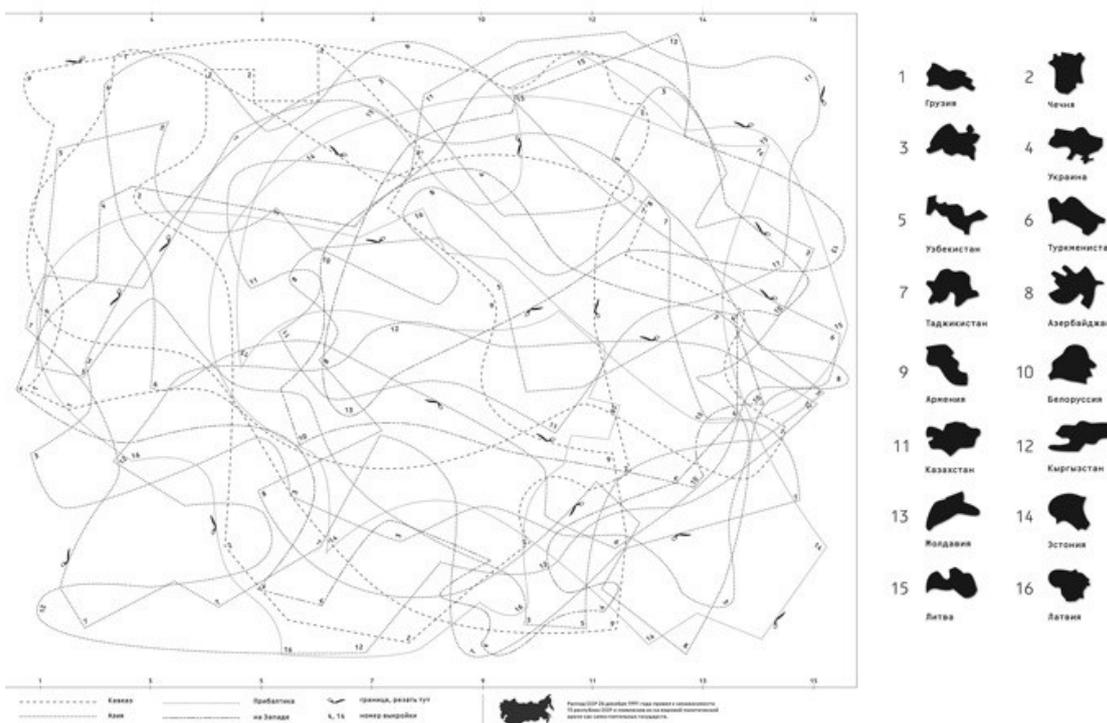
Ведь все ориентиры, которые ее размечают, уже присутствуют здесь и теперь. Невозможность ясно отличать

настоящее от будущего, наличное состояние от перспективы создает депрессивный горизонт, который мы предпочитаем скрывать от самих себя в абсолютной неопределенности.

Лет пятнадцать назад сотрудник музея или исследовательского центра мог мечтать: стану куратором европейских программ, замдиректора, опубликую самую главную книгу по своей теме — и это изменит абсолютно все. Прошло пятнадцать лет: позиции заняты и переназначены, книги опубликованы (и некоторые в самом деле — главные), профессиональное качество проектов и событий продолжает расти. А «все» радикально не меняется, потенциал множественных реальностей абсорбирован все более однородным институциональным ландшафтом. Неолиберальный взгляд неслучайно присваивает миру определяющую характеристику плоского. Плоский мир образован сцеплением равноположенных элементов с общим интерфейсом, радикальные перемены в нем не предусмотрены. И странно: чем более плоский мир, чем более устойчивы его сети за счет возможности комбинаций и перестановок, тем менее он предсказуем для нас. Свой вклад в уплощение перспективы вносят неафишируемые стороны нового меркантилизма: агрессивная институциональная среда, которая отвергает меритократию во имя эффективности, требование продуктивности и учета, которое все более плотно колонизирует время нашей жизни, императив быстрой смены событий, тематик, специализаций, в силу которого производители часто проигрывают институциям. Каков выбор будущего для тех, кто работает в музее или исследовательском центре сегодня: стать малым

бюрократом или провести ближайшие годы на зыбких фриланс-контрактах, ринуться в гонку за поощрительными надбавками или получать редкие стипендии, экономя на всем в паузах между ними? В большинстве случаев реализм сегодняшнего дня состоит в том, что, даже заняв должность, написав книгу, проведя серию ярких событий, через пять лет вы, скорее всего, окажетесь в не менее уязвимом положении. Признаться себе в таком будущем, в целом — не самый спокойный и не травматичный опыт. Подобное настоящее-будущее столь явно отдает сиюминутностью дурного тона, настолько демотивирует, что принимать его за жизненно важную цель или удачный план крайне проблематично.

СТРАНЫ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Карта-выкройка



Лена Зубцова. «Карта-выкройка: страны бывшего Советского Союза».

Калька, цифровая печать. Размер бумаги А0.

Предоставлено художницей

Фиктивная непредсказуемость сверхопределенного настоящего — перспектива ближайших пяти, а возможно, и

двадцати лет, которая имеет немного общего со сменяемостью политического руководства. Полагаю, можно говорить о нескольких глобальных переменных, которые структурно определяют будущее, несмотря на наше нежелание его предсказывать. Первая и важнейшая — это то, каким образом происходит управление временем. Вся эмансипаторная политика, эмансипаторная борьба XX века была, по сути, борьбой за время, и в первую очередь, за непрерывное время: за сокращение рабочих часов, доступность досуга, размещение работы и отдыха в разных отрезках и пространствах. То есть это было конструирование иной, не-капиталистической инфраструктуры времени. Сегодняшняя институциональная ситуация, плоский мир, предсказуемая непредсказуемость весьма неприглядного будущего, которое нам трудно принять, очень тесно завязаны на разрушение этой инфраструктуры. Не в смысле простого подрыва или расшатывания того институционального фундамента, который был заложен в 1950–1970-е годы, а в смысле попытки заново нарубить это время мелкими кусками, не покушаясь на институциональные основы, и перешить их так, чтобы обладатели дробного времени жизни были более гибкими и сговорчивыми. То, что наше время будет и дальше дробиться, не вызывает сомнений. И это заставляет думать, что такая подвешенность в неопределенном настоящем сохранится, снова и снова приводя к тому же эффекту — все большей открытости к принуждению и манипуляции. В свою очередь, восстановление времени, непрерывность времени жизни, работы, отдыха, своей биографии, возврат к возможности кем-то себя вообразить через пять лет, то есть обретение некой цели, горизонта — эта важная переменная, которая, скорее всего, будет все

более и более редкой ценностью.

В такой ситуации упомянутые вами постопераисты, в частности Франко Берарди, призывают к новому серьезному разговору о революции. Мы дошли до такого порога капитализма и управления нашими жизнями, что разговор о революции, который начинался в конце 1960-х в ленинской терминологии, сегодня должен быть возобновлен на новых условиях, с предельным вниманием к интеллектуализации и автоматизации труда. Есть целый ряд гораздо менее оптимистичных авторов, которые диагностируют истощение ресурса человечности и человеческого в современных обществах. На их взгляд, дробность времени, автоматизация труда, виртуализация культурной экономики будут продолжаться бесконтрольно, без возможности сдержать эти процессы силами правительств или самоорганизации, — и это заставит нас страдать бесконечно.

В этом смысле мы оказываемся в совершенно парадоксальной ситуации не просто будущего без утопии, но утопии перевернутой. В конце XIX века, как и в послевоенный период, Маркс и марксисты говорили о том, что одним из решений наших проблем является освобождение труда, то есть освобождение от принудительности труда через высвобождение времени, механизацию, перераспределение рутины. Причем этот язык надежды был характерен не только для раннего европейского марксизма, но и для позднесоветского периода, где досуг с конца 1950-х возводился в одну из главных добродетелей социализма и его преимущество перед капитализмом. И вот, когда автоматизация труда достигает столь осязаемого масштаба, мы сталкиваемся с

парадоксальным превращением неоплаченного досуга из решения в отдельную проблему. Неавтоматизируемый, защищенный от девальвации труд становится настолько редким, что вовлеченность в него из ущерба, которого следует избегать, становится привилегией. Такая диагностика может показаться фантастической только на первый взгляд. В действительности она прямо связана с длительностью контрактов и социальной защитой.

Автоматизация захватывает сегодня такие сферы труда, которые еще недавно казались просто онтологически к этому неприспособленными. Речь, в частности, о непроизводственном труде: исследовательском, писательском, отчасти художественном. Здесь автоматизация увеличивает скорость выпуска продуктов, обеспечивая краткосрочные выгоды в профессиональном состязании. Но уже на следующем шаге этот же самый процесс ведет к девальвации целых профессий.

Переводчики и юристы находятся в первых строках списка, однако в нем уже есть место, например, для журналистов и даже медиков. Так, в российском правительстве всерьез обсуждается возможность дальнейшей «оптимизации» медицинской инфраструктуры путем перевода поликлиник в режим телеконсультаций. Я специально интересовался, каковы профессиональные кадры телемедицины.

Значительную долю этого сектора составляют уже не профессиональные медики полного цикла, а быстро обученные консультанты и ассистенты. Растущая виртуализация художественных практик в публичном пространстве расположена на том же векторе сдвига. Все это ставит фундаментальную проблему возможности определения своего социального положения и будущего через труд. В той мере, в которой этот труд исчезает,

испаряется, становится все более неосязаем, дробен, вшит в технологический каркас — в той мере он оказывается основой для привилегий у обладателей редких постоянных контрактов. Эти профессионалы превращаются едва ли не в новую аристократию. В то время как большинству работающих уготованы краткие контракты, прекарные условия социальной защиты, отказ в кумуляции заслуг компетентности и стажа. То есть большинство страдает от того, что должно было бы нас освободить.

Пока скудны контртехнологические, контрвластные решения вопроса о времени, вероятнее всего, мы продолжим страдать. Ключевая задача в такой ситуации — даже не восстание, а иное управление временем, создание альтернативных форм, которые разделялись бы в виде общего знания и практики. Важно понимать, что даже если произойдет революция, к возможности которой призывает обратиться Берарди, она произойдет непредсказуемо (как и любая революция). И чтобы эта революция просто не воспроизвела старый порядок, как нас об этом предупреждал Токвиль, к тому моменту уже должны существовать, тестироваться, использоваться другие технологии управления временем.

В.М.: Вы говорите об обществе и производственном процессе, в то время как искусство по сути своей прекарно, и поэтому быть аристократичным ему не суждено по определению. Однако из последнего вашего тезиса о необходимости овладения временем и необходимости управления им, как некой революционной, эмансипаторно освободительной задачи, вырисовывается для искусства новая перспектива. Тот упрек, который мы единодушно вынесли политической мысли, в том, что она не

рефлексирует на реальный опыт сегодняшнего дня, оставаясь исключительно умозрительной и имитационной, и сообществам, создающим альтернативные пространства, в которых разыгрываются те же формы жизни, которые вменены неолиберальным порядком, — наверное, и определяет сегодня основную задачу искусства.

Самоорганизованные сообщества могут, если просто не должны, экспериментально вырабатывать через совместность другие временные режимы. В 1990-е годы мне довелось участвовать в групповых проектах, для которых создание альтернативного временного режима было программным. И политический смысл этой измененной темпоральности был тогда абсолютно очевиден: лихорадочной ритмике капиталистического производства противопоставлялось нарочито замедленное время непроизводительной рефлексии и диалога. Потом, в нулевые, эти практики оказались забыты: тогда все побежали наперегонки, пытаясь вписаться в лихорадочно раскручивающееся время художественного производства. И сейчас, когда возникает интерес к альтернативным сообществам, крайне важно напомнить о политическом смысле категории времени. Если из вашего анализа следует, что в силу бесконечно дробящегося настоящего будущее как бы исчезает, то, может, если удастся замедлить время, то именно тогда, как это ни парадоксально, появится будущее?..

Материал готовила ЛИЯ АДАШЕВСКАЯ